**ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА И ТАЙНА ТВОРЧЕСТВА В КНИГЕ Б.ЗАЙЦЕВА «ЧЕХОВ»**

Наряду с беллетризованными жизнеописаниями Б.К.Зайцева «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), книга о Чехове («Чехов», 1954) представляет опыт *духовной биографии художника*, нацеленной на постижение взаимосвязей религиозных исканий и интуиций писателя с тайной творчества, с этапами его жизненного и литературного пути, эволюцией художественного мышления.

Детские и юношеские годы Чехова осмыслены в произведении Зайцева в качестве сферы взаимопроникновения внешнего опыта, обусловленного изначально тем, как в отцовской лавке он «видел пеструю смесь ничтожного и смешного, насильнического и серьезного» (С.13),[[1]](#footnote-1) – и пробуждения религиозного чувства, которое отчасти противопоставлялось истовому домашнему воспитанию, содержавшему в себе «нечто как раз отдаляющее от Церкви, создающее будущих маловеров»: «В Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее не похожее…» (С.15, 16).

Усиление горькой тональности в чеховской юмористике, переход от нее с конца 1880-х гг. к созданию больших рассказов, повестей, пьес представлены Зайцевым в соотнесенности с духовной, интеллектуальной атмосферой московской жизни Чехова в студенческие годы, когда, с одной стороны, он был склонен едва ли не подменить наукой религию, а с другой – выражал в медицинской практике сердцевину своего сокровенно-христианского мировидения: «Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт… Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия… Этот завет русского врачевания – нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда: он подходил к его характеру и облику» (С.44).

Сквозным сюжетом, в значительной мере «интимизирующим» биографическое повествование, становится развитие физического недуга писателя. Рано и грозно заявившая о себе кровохарканьями смертельная болезнь стала в трактовке биографа-художника тем промыслительным «заревом», которое было показано Чехову «как раз в минуты опьянения успехом» (С.61) и обнажило тайный драматизм его существования, прорвавшийся и в рассказе «Припадок» (1888), и в «Иванове» (1887) – «весьма мрачной пьесе, в тусклых, темных тонах, просто даже безнадежной, выдававшей скрытый и горестный мир автора» (С.53).

В качестве приметных «верстовых столбов в пути» Чехова как художника и мыслителя интерпретируются Зайцевым почти одновременно написанные и во многом взаимно контрастные повести «Степь» (1888) и «Скучная история» (1889). «Степь» «выплыла… из глубины душевной», в ней все «художнически преображенное»; здесь через о. Христофора и иных персонажей во всем повествовании «разлита радость изображения Божьего мира» (С.55, 58), за которой, однако, просматривается и авторское томление от одиночества и осознания краткости земного пути. На этом фоне «Скучная история» воспринята Зайцевым как «предел безутешности», художественное преломление авторского «суда над собою». Мучения профессора от необретения «общей идеи» бытия («смерть близится, а ничего за душой») осмысляются автором биографии в русле христианской космологии и антропологии: «Общей идеи! Не лучше ли сказать – веры. Основной интуиции: есть Бог, и мир создан не зря, все имеет цель и значение, и каждая жизнь, в достоинстве и благообразии, угодна Богу… Но у него именно нет «истинного Бога», и сказать ему нечего» (С.72). Терзания чеховских персонажей выводят Зайцева к постижению *граней осознанного и бессознательного начал в творческой личности, сложной природы религиозного чувства самого писателя*, которое, по его убеждению, может быть передано только на *языке антиномий*: «Христианский мир отца и матери (в особенности) скрытно в нем произрастал, мало, однако, показываясь на глаза… Надо сказать прямо – у него не было веры (т.е. основного чувства, идущего из недр: все правильно, с нами Бог)… Писатель совсем, собственно, молодой (хотя очень рано развившийся) взял уходящего профессора, переоделся частью в него, написал пронзительную вещь и, не осознавая того, похоронил материализм… Художник и человек Чехов убил доктора Чехова» (С.74, 69, 70, 73).

Обращаясь к области психологии творчества, Зайцев высветляет в личности Чехова *соприкосновения собственно художнического мировидения с иными ракурсами восприятия реальности*. Особенно рельефно такие пересечения явлены в «Острове Сахалине», где автор «как художник и врач не упустит и черточки», и вместе с тем художник здесь «сознательно запрятан, говорит путешественник, исследователь, тюрьмовед, врач, статистик» (С.81, 78). Книга о каторжном острове, от которой тянутся нити к позднейшим, ставшим «продолжением сахалинской преисподней» (С.91) рассказам и повестям о народной жизни («Бабы», «В овраге», «Мужики», «Моя жизнь»), становится для Зайцева выражением особенностей евангельского миропонимания писателя, спроецированного прежде всего не на мистические прозрения о Боге, но на повседневно-бытовую практику межчеловеческих связей: Чехов «наперекор толкам о его безыдейности и равнодушии едет за тридевять земель к отверженным… Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в нем не для него… Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его вещах» (С.75, 83).

В чеховском изображении народного бытия и сознания Зайцев тщательно прослеживает парадоксальное соотношение духовной и душевной неразвитости, «горечи, мрака, деревенской беспросветности» (С.91) – и порой ослепительных проблесков религиозного чувства, косвенно передающих духовные поиски писателя. Это и о. Христофор, в изображении которого проступила «давняя тоска Чехова по Божеству» (С.104), и простые бабы («Студент»), заплакавшие при рассказе о событиях Великой Пятницы («с ними плакало и сердце самого Чехова», С.111), и Липа с мертвым младенцем, и мужики «из Фирсанова» в повести «В овраге», где сюжетный ряд выходит на уровень библейских обобщений: «Никогда старик из Фирсанова не читал Иова, вряд ли читал его и Чехов, но смысл все тот же, Бог тоже все тот же, лишь Новозаветный, та же и тайна судеб наших… Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода…» (С.159).

Оригинален подход Зайцева к осмыслению поздних чеховских пьес, в которых им высвечиваются грани *автобиографического мифа художника*. В «Чайке» запечатлелась «часть сердечной судьбы», отразился «новый поворот судьбы литературной, театральной», в основе пьесы – «миф, корни которого в Лике, Чехове, Мелихове… Чтобы так напитать все эросом, надо сильно быть им уязвленным… Все вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной» (С.119, 120). Пьеса «Дядя Ваня», созданная «возросшим человеком», своими сюжетными линиями, воспоминаниями и предчувствиями действующих лиц связывает прошлую жизнь Чехова «с будущим его» (С.147). А в «Трех сестрах» исподволь проступила «вся неотразимая меланхолия Чехова, его подспудное и внеразумное разлито в пьесе ненамеренно – и оно-то ее возносит» (С.174). Сквозящее здесь предощущение «ухода, разлуки» развернется затем в «Вишневом саде» – этом, по мысли Зайцева, «воистину прощальном произведении», «пьесе расставания», в которой он усматривает двойственное соединение «и высокого художества, и умысла, местами выпирающего и охлаждающего» (С.186). Умысел, нацеленный на то, чтобы «осудить распущенное и ленивое барство», неожиданным образом привел к тому, что «те, кого следовало осуждать, вышли гораздо и ярче и живей осудителей, написались легко, убедительно… Раневская, Гаев, Епиходов, Симеонов-Пищик, Фирс и особенно гувернантка Шарлотта замечательны: их писал он как Бог на душу положит» (С.186, 187).

Пристальный интерес к сфере психологии и метафизики творчества выразился у Зайцева не в отвлеченных теоретизированиях, но в *лейтмотивном ритме биографического повествования, где сквозные темы болезни, уходящего времени, любви, одиночества, религиозных исканий и прозрений, переплетаясь, проецируются на вехи судьбы художника и творимую им эстетическую реальность*.

В качестве одной из вершин чеховского творчества показан Зайцевым рассказ «Архиерей», где «все непосредственно и все пережито», где явлено «свидетельство зрелости и предсмертной, несознанной просветленности» (С.178, 179). В этом произведении откристаллизовались глубинные закономерности пройденного писателем духовного и литературного пути: «Развитие художника есть закаленность вкуса, твердая рука, отметание ненужного, забвение юношеского писания – тот рост, который шел в Чехове непрерывно рядом с ростом человека. Как и «В овраге», «Архиерей» написан с тем совершенством простоты, которое дается трудом целой жизни» (С.178). Через образ епископа Петра, который прошел «сквозь душу и воображение поэта» (С.201), в воссоздании последних для него Страстных дней, начиная с «неземного озарения… со всенощной в Вербную субботу» (С.179), в произведении высветился путь человека, идущего от «дольнего, бедного, грешного мира» – к Богу.

Полемизируя с высказанным Л.Шестовым в статье «Творчество из ничего (А.П.Чехов)» (1908) взглядом на Чехова как на выразителя безнадежности и отчаянной богооставленности, Зайцев утверждает *антиномичный подход к пониманию чеховской религиозности*. С одной стороны, «в вопросах вечных: Бог, смерть, судьба, загробное – зрелость не принесла ни ясности, ни решения. Как был он двойственен, так и остался до конца… Интеллигентный верующий вызывал в нем недоумение – такое было время» (С.182). С другой же – при отсутствии «дара полной веры» и «твердо очерченного мировоззрения» (С.206) «христианский, евангельский свет в Чехове таился… Если чем был отравлен, подспудно и бессознательно, так именно христианством, особенно христианским отношением к ближнему» (С.206, 205).

В сочетании художественной и документальной стратегий биографического повествования, в характерных для прозы Зайцева лейтмотивной композиции, импрессионистской манере письма в его книге о Чехове развиваются интуиции о соотношении явленного и сокровенного в судьбе художника, авторского «я» и персонажного мира; о творческом преломлении автобиографического мифа, о природе и путях выражения чеховской религиозности. Скрупулезно воссозданные частные житейские подробности приобретают здесь символический и надвременный масштаб – как, например, в финальных раздумьях о последнем земном пристанище Чехова «в том Новодевичьем, куда он ходил из клиник, выздоравливая, стоял скромно у стенки в храме, слушая службу и пение новодевичьих монашенок» (С.191).

1. Здесь и далее ссылки на текст книги Б.Зайцева «Чехов» приведены с указанием страниц по изданию: Зайцев Б.К. Чехов: Литературная биография. М., Дружба народов, 2000. – 208 с. [↑](#footnote-ref-1)